



Записки

Этой книгой
восхищался
Пушкин!

КАВАЛЕРИСТ-

девицы

Изящный век

Изящный век

Надежда Дурова

Записки кавалерист-девицы

«Издательство АСТ»

1836

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Дурова Н. А.

Записки кавалерист-девицы / Н. А. Дурова — «Издательство АСТ», 1836 — (Изящный век)

ISBN 978-5-17-096770-4

Надежда Андреевна Дурова (1783–1866) – первая в России женщина-офицер, русская амазонка, талантливейшая писательница, загадочная личность, жившая под мужским именем. Надежда Дурова в чине поручика приняла участие в боевых действиях Отечественной войны, получила в Бородинском сражении контузию. Была адъютантом фельдмаршала М. И. Кутузова, прошла с ним до Тарутина. Участвовала в кампаниях 1813–1814 годов, отличилась при блокаде крепости Модлин, в боях при Гамбурге. За храбрость получила несколько наград, в том числе солдатский Георгиевский крест. О военных подвигах Надежды Андреевны Дуровой более или менее знают многие наши современники. Но немногим известно, что она совершила еще и героический подвиг на ниве российской литературы – ее литературная деятельность была благословлена А. С. Пушкиным, а произведениями зачитывалась просвещенная Россия тридцатых и сороковых годов XIX века. Реальная биография Надежды Дуровой, пожалуй, гораздо авантюренее и противоречивее, чем романтическая история, изображенная в столь любимом нами фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада».

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-096770-4

© Дурова Н. А., 1836
© Издательство АСТ, 1836

Содержание

Надежда Андреевна Дурова	7
Часть первая	10
Детские лета мои	10
Записки	21
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Надежда Дурова
Записки кавалерист-девицы

© ООО «Издательство АСТ», 2016

Надежда Андреевна Дурова (1783–1866)

Надежда Андреевна Дурова – первая в России женщина-офицер, русская амазонка, талантливейшая писательница, загадочная личность, живущая под мужским именем.

Она родилась 17 сентября 1783 года в Киеве в семье отставного гусарского ротмистра Андрея Васильевича Дурова и Надежды Ивановны Дуровой, которая, убежав из дома, обвенчалась с женихом тайно от родителей, за что была проклята отцом.

Надежда Ивановна была разочарована рождением дочери вместо сына, сын был единственной надеждой на прощение родителей. Андрей Васильевич командовал эскадроном в гусарском полку. Однажды во время похода, доведенная до крайности плачем дочери, мать вышвырнула бедное дитя из экипажа. Ребенок разбился, но остался жив. Отец принял меры, и с этого дня девочкой занимался фланговый гусар, который носил ее на руках.

А. В. Дуров вышел в отставку и поселился в Сарапуле. Воспитанием дочери стала заниматься мать. Девочка была истинный сорванец, она не желала плести кружева и вышивать, за испорченное рукоделие ей полагалась трепка, зато она как кошка лазала по деревьям, стреляла из лука и пыталась изобрести снаряд. Она мечтала научиться владеть оружием, верховой езде и грезила о военной службе.

За девочкой стал приглядывать гусар Астахов, который привил ей любовь к военному делу. Надежда Дурова писала: «Воспитатель мой, Астахов, по целым дням носил меня на руках, ходил со мной в эскадронную конюшню, сажал на лошадей, давал играть пистолетом, махать саблей».

Когда она подросла, отец подарил ей черкесского коня Алкида, езда на котором скоро стала ее любимым занятием.

Выйдя в 18 лет замуж за Василия Чернова, чиновника Сарапульского земского суда, она через год родила сына. Мальчика крестили в Вознесенском соборе и нарекли Иваном. Н. Дурова ушла от мужа и вернулась с ребенком в родительский дом (об этом в «Записках» Дуровой не упоминается). Таким образом, ко времени своей службы в армии она была не «девицей», а женой и матерью. В родительском доме ее мать, Надежда Ивановна, по словам Дуровой, все так же «постоянно жаловалась на судьбу пола, находящегося под проклятием божьим, ужасными красками описывала участь женщин», отчего у Надежды возникло «отвращение к своему полу».

В 1806 году Надежда Дурова в день своих именин пошла купаться, прихватив старую казацкую одежду. В нее она переделалась, а платье оставила на берегу. Родители решили, что дочь утонула, а она в мужском платье присоединилась к донскому казачьему полку, направлявшемуся на войну с французами. Дурова выдала себя за «помещичьего сына Александра Соколова».

Иван, сын Дуровой, остался в семье деда и в дальнейшем был зачислен в Императорский военно-сиротский дом, который существовал на положении кадетского корпуса. Преимущественным правом при зачислении пользовались сыновья офицеров, погибших на войне или находившихся на действительной военной службе. Отец Ивана был не в состоянии предоставить ему это преимущество, а вот мать смогла, сделала для сына невозможное. Дав ему столичное образование, Дурова и впоследствии не оставляла сына без внимания. «Кавалерист-девица», пользуясь старыми связями и знакомствами, обеспечила Ивану Васильевичу Чернову определенную степень независимости и прочное положение в обществе.

Иван Васильевич Чернов женился, предположительно, в 1834 году на Анне Михайловне Бельской, дочери титулярного советника. Она умерла в 1848 году в возрасте 37 лет. В тот год

в столице разразилась эпидемия холеры, возможно, она и стала причиной ее смерти. Чернов больше не вступал в брак. Он скончался 13 января 1856 года в возрасте 53 лет в чине коллежского советника, чине, равном армейскому полковнику. Он и его жена покоятся на Митрофановском кладбище Санкт-Петербурга. «Кавалерист-девица» пережила своего сына на 10 лет.

В 1807 году ее приняли «товарищем» (рядовым из дворян) в Коннопольский уланский полк. В конце марта полк был направлен в Пруссию, откуда Дурова написала письмо отцу, прося прощения за свой поступок и требуя «позволить идти путем, необходимым для счастья». Отец Дуровой послал прошение императору Александру I с просьбой разыскать дочь. По величайшему повелению Дурову, не раскрывая ее инкогнито, со специальным курьером отправили в Петербург. Там было принято решение оставить Надежду на службе, присвоить имя Александра Андреевича Александрова (его она и носила до смерти), зачислить корнетом в Мариупольский гусарский полк.

Партизан и поэт Денис Давыдов в письме к А. С. Пушкину вспоминал о своих встречах с Н. А. Дуровой во время войны: «Дурову я знал потому, что я с ней служил в арьергарде, во все время отступления нашего от Немана до Бородина... Я помню, что тогда поговаривали, что Александров – женщина, но так, слегка. Она очень уединена была, избегала общества, столько, сколько можно избегать его на биваках. Мне случилось однажды на привале войти в избу вместе с офицером того полка, в котором служил Александров, именно с Волковым. Нам хотелось выпить молока в избе... Там нашли мы молодого уланского офицера, который только что меня увидел, встал, поклонился, взял кивер и вышел вон. Волков сказал мне: «Это Александров, который, говорят, – женщина». Я бросился на крыльцо, но он уже скакал далеко. Впоследствии я ее видел на фронте...»

За участие в боях и за спасение жизни офицера в 1807 году Дурова была награждена солдатским Георгиевским крестом. В своих многолетних походах Дурова вела записки, которые позже стали основой для ее литературных произведений. «Священный долг к Отечеству, – говорила она, – заставляет простого солдата бесстрашно встречать смерть, мужественно переносить страдания и покойно расставаться с жизнью».

В 1811 году Дурова перешла в Литовский уланский полк, в составе которого приняла участие в боевых действиях Отечественной войны, получила в Бородинском сражении контузию и была произведена в чин поручика. Была адъютантом фельдмаршала М. И. Кутузова, прошла с ним до Тарутина. Участвовала в кампаниях 1813–1814 годов, отличилась при блокаде крепости Модлине, в боях при Гамбурге. За храбрость получила несколько наград. Прослужив около десяти лет, в 1816 году вышла в отставку в чине штаб-ротмистра. После отставки Дурова жила несколько лет в Петербурге у дяди, а оттуда уехала в Елабугу.

О военных подвигах Надежды Андреевны Дуровой более или менее знают многие наши современники. Но немногим известно, что она совершила еще и героический подвиг на ниве российской литературы – ее литературная деятельность была благословлена А. С. Пушкиным, а произведениями зачитывалась просвещенная Россия тридцатых и сороковых годов XIX века.

В 1835–1836 годах происходит формирование Надежды Дуровой как писательницы. Некоторую роль в этом сыграло ее затруднительное материальное положение. Она жила на небольшую пенсию военного ведомства – одну тысячу рублей в год. Литературная деятельность ее тем более удивительна, что она никогда нигде не училась. Публикация в журнале «Современник» отрывка из ее воспоминаний, посвященного 1812 году, произвела среди современников настоящий фурор, а Отечественная война приобрела еще одного героя, вернее, героиню.

Пушкин снабдил отрывок следующим предисловием: «С неизъяснимым участием прочли мы признание женщины, столь необыкновенной; с изумлением увидели, что нежные пальчики, некогда сжимавшие окровавленную рукоять уланской сабли, владеют и пером быстрым, живописным и пламенным».

В жизни Надежда Дурова была нарушительницей канонов: носила мужской костюм, курила, коротко стригла волосы, при разговоре закидывала ногу на ногу и упиралась рукой в бок, да и именовала себя в мужском роде.

Последние годы Дурова жила в Елабуге, в маленьком домике, совершенно одинокая, в окружении своих многочисленных четвероногих любимцев. Это были кошки и собаки. Любовь к животным всегда была в роду Дуровых. Потомки Дуровой – Владимир, Анатолий и Наталья Дуровы – стали всемирно известной фамилией цирковых дрессировщиков.

Надежда Андреевна Дурова умерла 21 марта 1866 года, на восемьдесят третьем году жизни. Назвавшись в 1806 году мужским именем, она носила его шестьдесят лет, ни разу не сделав попытки вернуться к настоящей фамилии. Даже от собственного сына «кавалерист-девица» требовала обращения к себе как к Александру.

Похоронили ее на Троицком кладбище Елабуги, с воинскими почестями, в мужском платье.

В 1901 году на могиле Дуровой состоялось торжественное открытие памятника из темно-зеленого гранита, окруженного железной решеткой. После троекратного ружейного залпа упавшее покрывало открыло медную доску, на которой была выгравирована эмблема полка и эпитафия:

НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА ДУРОВА

По повелению императора Александра – корнет Александров.

Кавалер военного ордена.

Движимая любовью к Родине, поступила в ряды Литовского уланского полка.

Спасла офицера. Награждена Георгиевским крестом.

Прослужила 10 лет в полку, произведена в корнеты и удостоена чина штабс-ротмистра.

Родилась в 1783 г. Скончалась в 1866 г.

Мир ее праху!

Вечная память в назидание потомству ее доблестной душе!

В конце XIX века Троицкое кладбище имело величественный вид. На его территории было установлено множество саркофагов, обелисков, склепов, часовен из лучших пород мрамора и гранита, исполненных настоящими мастерами камнерезного дела. В начале 30-х годов прошлого столетия елабужский некрополь и кладбищенская церковь были превращены в груды развалин. Та же участь постигла и надгробие Дуровой. Ничто не могло остановить разрушителей: ни ценные памятники, ни мозаики надгробных сооружений, ни священная могила Дуровой. Однако место захоронения героини Бородинского сражения благодарные жители города сохранили в памяти и на фотографиях. Сейчас на могиле Надежды Андреевны Дуровой установлено надгробие из красного гранита, созданное по проекту московского скульптора Ф. Ф. Ляха.

Часть первая

Детские лета мои

Мать моя, урожденная Александровичева, была одна из прекраснейших девиц в Малороссии. В конце пятнадцатого года ее от рождения женихи толпою предстали искать руки ее. Из всего их множества сердце матери моей отдавало преимущество гусарскому ротмистру Дурову; но, к несчастью, выбор этот не был выбором отца ее, гордого, властолюбивого пана малороссийского. Он сказал матери моей, чтоб она выбросила из головы химерическую мысль выйти замуж за москаля, а особливо военного.

Дед мой был величайший деспот в своем семействе; если он что приказывал, надобно было слепо повиноваться, и не было никакой возможности ни умиловить его, ни переменить однажды принятого им намерения.

Следствием этой неумеренной строгости было то, что в одну бурную осеннюю ночь мать моя, спавшая в одной горнице с старшею сестрою своею, встала тихонько с постели, оделась и, взяв салоп и капор, в одних чулках, утаивая дыхание, прокралась мимо сестриной кровати, отворила тихо двери в залу, тихо затворила, проворно перебежала ее и, отворя дверь в сад, как стрела полетела по длинной каштановой аллее, оканчивающейся у самой калитки. Мать моя поспешно отпирает эту маленькую дверь и бросается в объятия ротмистра, ожидавшего ее с коляскою, запряженною четырьмя сильными лошадьми, которые, подобно ветру, тогда бушевавшему, понесли их по киевской дороге.

В первом селе они обвенчались и поехали прямо в Киев, где квартировал полк Дурова. Поступок матери моей хотя и мог быть извиняем молодостию, любовью и достоинствами отца моего, бывшего прекраснейшим мужчиною, имевшего кроткий нрав и пленительное обращение, но он был так противен патриархальным нравам края малороссийского, что дед мой в первом порыве гнева проклял дочь свою.

В продолжение двух лет мать моя не переставала писать к отцу своему и умолять его о прощении; но тщетно: он ничего слышать не хотел, и гнев его возрастал, по мере как старались смягчить его. Родители мои, потерявшие уже надежду умиловить человека, почтившего упорство характерностью, покорились было своей участи, перестав писать к неумолимому отцу; но беременность матери моей оживила угасшее мужество ее; она стала надеяться, что рождение ребенка возвратит ей милости отцовские.

Мать моя страстно желала иметь сына и во все продолжение беременности своей занималась самыми обольстительными мечтами; она говорила: «У меня родится сын, прекрасный, как амур! Я дам ему имя Модест; сама буду кормить, сама воспитывать, учить, и мой сын, мой милый Модест будет утешою всей жизни моей...» Так мечтала мать моя; но приближалось время, и муки, предшествовавшие моему рождению, удивили матушку самым неприятным образом; они не имели места в мечтах ее и произвели на нее первое невыгодное для меня впечатление. Надобно было позвать акушера, который нашел нужным пустить кровь; мать моя чрезвычайно испугалась этого, но делать нечего, должно было покориться необходимости. Кровь пустили, и вскоре после этого явилась на свет я, бедное существо, появление которого разрушило все мечты и ниспровергнуло все надежды матери.

«Подайте мне дитя мое!» – сказала мать моя, как только оправилась несколько от боли и страха. Дитя принесли и положили ей на колени. Но увы! это не сын, прекрасный, как амур! это дочь, и дочь *богатырь!* Я была необыкновенной величины, имела густые черные волосы и громко кричала. Мать толкнула меня с коленей и отвернулась к стене.

Через несколько дней маменька выздоровела и, уступая советам полковых дам, своих приятельниц, решила сама кормить меня. Они говорили ей, что мать, которая кормит грудью свое дитя, через это самое начинает любить его. Меня принесли; мать взяла меня из рук женщины, положила к груди и давала мне сосать ее; но, видно, я чувствовала, что не любовь материнская дает мне пищу, и потому, несмотря на все усилия заставить меня взять грудь, не брала ее; маменька думала преодолеть мое упрямство терпением и продолжала держать меня у груди, но, наскуча, что я долго не беру, перестала смотреть на меня и начала говорить с бывшею у нее в гостях дамою. В это время я, как видно, управляемая судьбою, назначавшею мне солдатский мундир, схватила вдруг грудь матери и изо всей силы стиснула ее деснами. Мать моя закричала пронзительно, отдернула меня от груди и, бросив в руки женщины, упала лицом в подушки.

«Отнесите, отнесите с глаз моих негодного ребенка и никогда не показывайте», – говорила матушка, махая рукою и закрывая себе голову подушкою.

Мне минуло четыре месяца, когда полк, где служил отец мой, получил повеление идти в Херсон; так как это был домашний поход, то батюшка взял семейство с собою. Я была поручена надзору и попечению горничной девки моей матери, одних с нею лет. Днем девка эта сидела с матушкою в карете, держа меня на коленях, кормила из рожка коровьим молоком и пеленала так туго, что лицо у меня синело и глаза наливались кровью; на ночлегах я отдыхала, потому что меня отдавали крестьянке, которую приводили из селения; она распеленывала меня, клала к груди и спала со мною всю ночь; таким образом, у меня на каждом переходе была новая кормилица.

Ни от переменных кормилиц, ни от мучительного пеленанья здоровье мое не расстраивалось. Я была очень крепка и бодра, но только до невероятности криклива. В один день мать моя была весьма в дурном нраве; я не дала ей спать всю ночь; в поход вышли на заре, маменька расположилась было заснуть в карете, но я опять начала плакать, и, несмотря на все старания няньки утешить меня, я кричала от часу громче: это переполнило меру досады матери моей; она вышла из себя и, выхватив меня из рук девки, выбросила в окно! Гусары вскрикнули от ужаса, соскочили с лошадей и подняли меня, всю окровавленную и не подающую никакого знака жизни; они понесли было меня опять в карету, но батюшка подскочил к ним, взял меня из рук их и, проливая слезы, положил к себе на седло. Он дрожал, плакал, был бледен, как мертвый, ехал не говоря ни слова и не поворачивая головы в ту сторону, где ехала мать моя. К удивлению всех, я возвратилась к жизни и, сверх чаяния, не была изуродована; только от сильного удара шла у меня кровь из рта и носа; батюшка с радостным чувством благодарности поднял глаза к небу, прижал меня к груди своей и, приблизясь к карете, сказал матери моей: «Благодари Бога, что ты не убийца! Дочь наша жива; но я не отдам уже ее тебе во власть; я сам займусь ею». Сказав это, поехал прочь и до самого ночлега вез меня с собою; не обращая ни взора, ни слов к матери моей.

С этого достопамятного дня жизни моей отец вверил меня промыслу божию и смотрению флангового гусара Астахова, находившегося неотлучно при батюшке как на квартире, так и в походе. Я только ночью была в комнате матери моей; но как только батюшка вставал и уходил, тотчас уносили меня.

Воспитатель мой Астахов по целым дням носил меня на руках, ходил со мною в эскадронную конюшню, сажал на лошадей, давал играть пистолетом, махал саблею, и я хлопала руками и хохотала при виде сыплющихся искр и блестящей стали; вечером он приносил меня к музыкантам, игравшим пред зарею разные штучки; я слушала и, наконец, засыпала. Только сонную и можно было отнести меня в горницу; но когда я не спала, то при одном виде материнской комнаты я обмирала от страха и с воплем хваталась обеими руками за шею Астахова.

Матушка, со времени воздушного путешествия моего из окна кареты, не вступалась уже ни во что, до меня касающееся, и имела для утешения своего другую дочь, точно уже прекрасную, как амур, в которой она, как говорится, души не слышала.

Дед мой, вскоре по рождении моем, простил мать мою, и сделал это весьма торжественным образом: он поехал в Киев, просил архиерея разрешить его от необдуманной клятвы не прощать никогда дочь свою и, получив пастырское разрешение, тогда уже написал к матери моей, что прощает ее, благословляет брак ее и рожденное от него дитя; что просит ее приехать к нему, как для того, чтобы лично принять благословение отца, так и для того, чтобы получить свою часть приданого.

Мать моя не имела возможности пользоваться этим приглашением до самого того времени, как батюшке надобно было выйти в отставку; мне было четыре года с половиною, когда отец мой увидел необходимость оставить службу. В квартире его, кроме моей кровати, были еще две колыбели; походная жизнь с таким семейством делалась невозможною; он поехал в Москву искать места по статской службе, а мать со мною и еще двумя детьми отправилась к своему отцу, где и должна была жить до возвращения мужа. Взяв меня из рук Астахова, мать моя не могла уже ни одной минуты быть ни покойна, ни весела; всякий день я сердила ее странными выходками и рыцарским духом своим; я знала твердо все командные слова, любила до безумия лошадей, и когда матушка хотела заставить меня вязать шнурок, то я с плачем просила, чтоб она дала мне пистолет, как я говорила, пощелкать; одним словом, я воспользовалась как нельзя лучше воспитанием, данным мне Астаховым!

С каждым днем воинственные наклонности мои усиливались, и с каждым днем более мать не любила меня. Я ничего не забывала из того, чему научилась, находясь беспрестанно с гусарами; бегала и скакала по горнице во всех направлениях, кричала во весь голос: «Эскадрон! Направо заезжай! С места! Марш-марш!»

Тетки мои хохотали, а матушка, которую все это приводило в отчаяние, не знала границ своей досаде, брала меня в свою горницу, ставила в угол и бранью и угрозами заставляла горько плакать.

Отец мой получил место городничего в одном из уездных городов и отправился туда со всем своим семейством; мать моя, от всей души меня не любившая, кажется, как нарочно делала все, что могло усилить и утвердить и без того необоримую страсть мою к свободе и военной жизни: она не позволяла мне гулять в саду, не позволяла отлучаться от нее ни на полчаса; я должна была целый день сидеть в ее горнице и плести кружева; она сама учила меня шить, вязать, и, видя, что я не имею ни охоты, ни способности к этим упражнениям, что все в руках моих и рвется и ломается, она сердилась, выходила из себя и била меня очень больно по рукам.

Мне минуло десять лет. Матушка имела неосторожность говорить при мне отцу моему, что она не имеет сил управиться с воспитанницею Астахова, что это гусарское воспитание пустило глубокие корни, что огонь глаз моих пугает ее и что она желала бы лучше видеть меня мертвою, нежели с такими наклонностями. Батюшка отвечал, что я еще дитя, что не надобно замечать меня, и что с летами я получу другие наклонности, и все пройдет само собою. «Не приписывай этому ребячеству такой важности, друг мой!» – говорил батюшка. Судьбе угодно было, чтоб мать моя не поверила и не последовала доброму совету мужа своего... Она продолжала держать меня взаперти и не позволять мне ни одной юношеской радости. Я молчала и покорялась; но угнетение дало зрелость уму моему.

Я приняла твердое намерение свергнуть тягостное иго и, как взрослая, начала обдумывать план успеть в этом. Я решила употребить все способы выучиться ездить верхом, стрелять из ружья и, переодевшись, уйти из дома отцовского. Чтобы начать приводить в действие замышляемый переворот в жизни моей, я не пропускала ни одного удобного случая укрыться от надзора матушки; эти случаи представлялись всякий раз, как к матушке приезжали гости; она занималась ими, а я, я, не помня себя от радости, бежала в сад к своему арсеналу, то есть темному углу за кустарником, где хранились мои стрелы, лук, сабля и изломанное ружье; я забывала целый свет, занимаясь своим оружием, и только пронзительный крик ищущих меня

девок заставлял меня с испугом бежать им навстречу. Они отводили меня в горницу, где всегда уже ожидало меня наказание.

Таким образом минуло два года, и мне было уже двенадцать лет; в это время батюшка купил для себя верховую лошадь – черкесского жеребца, почти неукротимого. Будучи отличным наездником, отец мой сам выездил это прекрасное животное и назвал его Алкидом. Теперь все мои планы, намерения и желания сосредоточились на этом коне; я решила употребить все, чтоб приучить его к себе, и успела; я давала ему хлеб, сахар, соль; брала тихонько овес у кучера и насыпала в ясли; гладила его, ласкала, говорила с ним, как будто он мог понимать меня, и наконец достигла того, что неприступный конь ходил за мною, как кроткая овечка.

Почти всякий день я вставала на заре, уходила потихоньку из комнаты и бежала в конюшню; Алкид встречал меня ржанием, я давала ему хлеба, сахару и выводила на двор; потом подводила к крыльцу и со ступеней садилась к нему на спину; быстрые движения его, прыганье, храпенье несколько не пугали меня: я держалась за гриву и позволяла ему скакать со мною по всему обширному двору, не боясь быть вынесенною за ворота, потому что они были еще заперты.

Случилось один раз, что забава эта прервалась приходом конюха, который, вскрикнув от страха и удивления, спешил остановить галопирующего со мною Алкида; но конь закрутил головой, взвился на дыбы и пустился скакать по двору, прыгая и брыкая ногами.

К счастью моему, обмерший от страха Ефим потерял употребление голоса, без чего крик его встревожил бы весь дом и навлек бы мне жестокое наказание. Я легко уладила Алкида, лаская его голосом, трепля и гладя рукою; он пошел шагом, и когда я обняла шею его и прислонила к ней лицом, то он тотчас остановился, потому что таким образом я всегда сходила, или, лучше сказать, сползала, с него. Теперь Ефим подошел было взять его, бормоча сквозь зубы, что он скажет это матушке; но я обещала отдавать ему все свои карманные деньги, если он никому не скажет и позволит мне самой отвести Алкида в конюшню; при этом обещании лицо Ефима *выяснилось*, он усмехнулся, погладил бороду и сказал: «Ну извольте, если этот пострел вас более слушается, нежели меня!»

Я повела в торжестве Алкида в конюшню, и, к удивлению Ефима, дикий конь шел за мною смирно и, сгибая шею, наклонял ко мне голову, легонько брал губами мои волосы или за плечо.

С каждым днем я делалась смелее и предприимчивее и, исключая гнева матери моей, ничего в свете не страшилась. Мне казалось весьма странным, что сверстницы мои боялись оставаться одни в темноте; я, напротив, готова была в глубокую полночь идти на кладбище, в лес, в пустой дом, в пещеру, в подземелье.

Одним словом, не было места, куда б я не пошла ночью так же смело, как и днем; хотя мне так же, как и другим детям, были рассказываемы повести о духах, мертвецах, леших, разбойниках и русалках, щекочущих людей насмерть; хотя я от всего сердца верила этому вздору, но несколько, однако ж, ничего этого не боялась; напротив, я жаждала опасностей, желала бы быть окруженною ими, искала бы их, если б имела хотя малейшую свободу; но неусыпное око матери моей следило каждый шаг, каждое движение мое.

В один день матушка поехала с дамами гулять в густой бор за Каму и взяла меня с собою для того, как она говорила, чтоб я не сломила себе головы, оставшись одна дома. Это было в первый еще раз в жизни моей, что вывезли меня на простор, где я видела и густой лес, и обширные поля, и широкую реку! Я едва не задохлась от радости, и только что мы вошли в лес, как я, не владея собою от восхищения, в ту же минуту убежала – и бежала до тех пор, пока голоса компании сделались неслышны; тогда-то радость моя была полная и совершенная: я бегала, прыгала, рвала цветы, взлезала на вершины высоких деревьев, чтоб далее видеть, взлезала на тоненькие березки и, схватясь за верхушку руками, соскакивала вниз, и молодое деревце легонько ставило меня на землю!

Два часа пролетели как две минуты! Между тем меня искали, звали в несколько голосов; я, хотя и слышала их, но как расстаться с пленительной свободой!

Наконец, уставши чрезвычайно, я возвратилась к обществу; мне не трудно было найти их, потому что голоса, меня зовущие, не умолкали. Я нашла мать мою и всех дам в страшном беспокойстве; они вскрикнули от радости, увидев меня; но матушка, угадав по довольному лицу моему, что я не заплуталась, но ушла добровольно, пришла в сильный гнев. Она толкнула меня в спину и назвала проклятою девчонкою, заклявшуюся сердить ее всегда и везде!

Мы приехали домой; матушка от самой залы до своей спальни вела и драла меня за ухо; приведши к подушке с кружевом, приказала мне работать, не разгибаясь и не поворачивая никуда головы. «Вот я тебя, негодную, привяжу на веревку и буду кормить одним хлебом!» Сказавши это, она пошла к батюшке рассказать о моем, как она называла, чудовищном поступке, а я осталась перебирать коклюшки, ставить булавки и думать о прекрасной природе, в первый раз еще виденной мною во всем ее величии и красоте! С этого дня надзор и строгость матери моей хотя сделались еще неусыпнее, но не могли уже ни утратить, ни удержать меня.

От утра до вечера сидела я за работою, которой, надобно признаться, ничего в свете не могло быть гаже, потому что я не могла, не умела и не хотела уметь делать ее, как другие, но рвала, портила, путала, и передо мною стоял холстинный шар, на котором тянулась полоса отвратительная путаница – мое кружево, и за ним-то я сидела терпеливо целый день, терпеливо потому, что план мой был уже готов и намерение принято.

Как скоро наступала ночь, все в доме утихало, двери запирались, в комнате матушки погашен огонь, я вставала, тихонько одевалась, украдкой выходила через заднее крыльцо и бежала прямо в конюшню; там брала я Алкида, проводила его через сад на скотный двор и здесь уже садилась на него и выезжала через узкий переулочек прямо к берегу и к Старцовой горе; тут я опять вставала с лошади и взводила ее на гору за недоуздок в руках, потому что, не умея надеть узды на Алкида, я не могла бы заставить его добровольно взойти на гору, которая в этом месте имела утесистую крутизну; итак, я взводила его за недоуздок в руках и, когда была на ровном месте, отыскивала пень или бугор, с которого опять садилась на спину Алкида, и до тех пор хлопала рукою по шее и щелкала языком, пока добрый конь не пускался в галоп, вскачь и даже в карьер; при первом признаке зари я возвращалась домой, ставила лошадь в конюшню и, не раздеваясь, ложилась спать, через что и открылись, наконец, мои ночные прогулки.

Девка, имевшая за мною смотренье, находя меня всякое утро в постели совсем одетую, сказала об этом матери, которая и взяла на себя труд посмотреть, каким образом и для чего это делается; мать моя сама видела, как я вышла в полночь совсем одетая и, к неизъяснимому ужасу ее, вывела из конюшни злого жеребца! Она не смела остановить меня, считая лунатиком, не смела кричать, чтобы не испугать меня, но, приказав дворецкому и Ефиму смотреть за мною, пошла сама к батюшке, разбудила его и рассказала все происшествие; отец удивился и поспешно встал, чтоб идти увидеть своими глазами эту необычайность. Но все уже кончилось скорее, нежели ожидали: меня и Алкида вели в триумфе обратно каждого в свое место.

Дворецкий, которому матушка приказала идти за мною, видя, что я хочу садиться на лошадь, и, не считая меня, как считала матушка, лунатиком, вышел из засады и спросил: «Куда вы, барышня?»

После этого происшествия мать моя хотела непременно, чего бы то ни стоило, избавиться моего присутствия, и для того решились отвезти меня в Малороссию к бабке, старой Александровичевой.

Мне наступал уже четырнадцатый год, я была высока ростом, тонка и стройна; но воинственный дух мой рисовался в чертах лица, и, хотя я имела белую кожу, живой румянец, блестящие глаза и черные брови, но зеркало мое и матушка говорили мне всякий день, что я совсем не хороша собою. Лицо мое было испорчено оспою, черты неправильны, а беспрестан-

ное угнетение свободы и строгость обращения матери, а иногда и жестокость напечатали на физиономии моей выражение страха и печали.

Может быть, я забыла бы наконец все свои гусарские замашки и сделалась обыкновенною девицею, как и все, если б мать моя не представляла в самом безотрадном виде участь женщины. Она говорила при мне в самых обидных выражениях о судьбе этого пола: женщина, по ее мнению, должна родиться, жить и умереть в рабстве; что вечная неволя, тягостная зависимость и всякого рода угнетение есть ее доля от колыбели до могилы; что она исполнена слабостей, лишена всех совершенств и не способна ни к чему; что, одним словом, женщина самое несчастное, самое ничтожное и самое презренное творение в свете! Голова моя шла кругом от этого описания; я решилась, хотя бы это стоило мне жизни, отделиться от пола, находящегося, как я думала, под проклятием Божиим. Отец тоже говорил часто: «Если б вместо Надежды был у меня сын, я не думал бы, что будет со мною под старость; он был бы мне подпорою при вечере дней моих». Я едва не плакала при этих словах отца, которого чрезвычайно любила. Два чувства, столь противоположные – любовь к отцу и отвращение к своему полу, – волновали юную душу мою с одинаковою силою, и я с твердостью и постоянством, мало свойственными возрасту моему, занялась обдумыванием плана выйти из сферы, назначенной природою и обычаями женскому полу.

При таком-то расположении ума и воли моей, в начале четырнадцатого года моего от рождения, отвезла меня мать моя в Малороссию к бабке и оставила у нее. Деда не было уже на свете.

Всю нашу семью составляли бабка моя осмидесятилетняя, умная и благочестивая женщина; она была некогда красавица и известна по необычайной кротости нрава; сын ее, а мой дядя, средних лет человек, пригожий, добрый, чувствительный и до несносности капризный, был женат на девице редкой красоты из фамилии Лизогубов, живущих в Чернигове; и, наконец, тетка лет сорока пяти, девица. Я более всех любила молодую и прекрасную жену дяди, но никогда, однако ж, не оставалась охотно в сообществе моих родных: они были так важны, так набожны, такие непримиримые враги воинственных наклонностей в девице, что я боялась думать в их присутствии о своих любимых намерениях.

Хотя свободы моей не стесняли ни в чем, хотя я могла с утра до вечера гулять, где хочу, не опасаясь быть бранною, но если б я осмелилась намекнуть только о верховой езде, то, думаю, меня осудили бы на церковное покаяние. Так нелицемерен был ужас родных моих при одной мысли об этих противозаконных и противоестественных, по их мнению, упражнениях женщин, а особливо девиц!

Под ясным небом Малороссии я приметно поздоровела, хотя в то же время загорела, почернела и подурнела еще более. Здесь меня не шнуровали и не морили за кружевом. Любя страстно природу и свободу, я все дни проводила, или бегая по лесным дачам дядиного поместья, или плавая по Удаю в большой ладье, называемой в Малороссии *дуб*.

Может быть, этой последней забавы не позволили б мне, если б знали об ней; но я имела предосторожность пускаться в навигацию после обеда, когда зоркие глаза молодой тетки закрывались для сна.

Дядя уходил заниматься хозяйством или читал газеты, которые тетушка-девица слушала с большим участием; оставалась только бабушка, которая могла бы увидеть меня; но она имела уже слабое зрение, и я в совершенной безопасности разъезжала прямо перед ее окнами.

Весною приехала к нам еще одна тетка моя, Значко-Яворская, живущая близ города Лубен; она полюбила меня и выпросила у бабушки позволение взять меня к себе на все лето.

Здесь и занятия мои и удовольствия были совсем другие; тетка была строгая женщина, наблюдавшая неослабный порядок и приличие во всем; она жила открыто, была знакома с лучшим обществом из окружных помещиков, имела хорошего повара и часто делала балы; я увидела себя в другой сфере.

Не слыша никогда брани и укоризн женскому полу, я мирилась несколько с его участием, особенно видя вежливое внимание и угождения мужчин. Тетка одевала меня очень хорошо и старалась свести загар с лица моего; воинские мечты мои начинали понемногу изглаживаться в уме моем; назначение женщин не казалось уже мне так страшным, и мне наконец понравился новый род жизни моей.

К довершению успокоения бурных помыслов моих, дали мне подругу; у тетушки жила другая племянница ее, Остроградская, годом моложе меня. Мы обе были неразлучны; утро проводили в комнате у тетки нашей, читая, рисуя или играя; после обеда до самого чаю мы были свободны гулять и тотчас уходили в *ливаду*; так называется часть земли, обыкновенно примыкающая к саду и отделяемая от него одним только рвом; я перескакивала его с легкостью дикой козы; сестра следовала моему примеру, и мы в продолжение урочного времени нашей прогулки облетали все соседние ливады во всем их пространстве.

Тетка моя, как и все малороссиянки, была очень набожна, строго наблюдала и исполняла все обряды, предписываемые религиею. Всякий праздник ездила к обедне, вечерне и заутрене; я и сестры должны были делать то же. Сначала мне очень не хотелось вставать до свету, чтоб идти в церковь, но в соседстве у нас жила помещица Кириякова с сыном и также всегда приезжала в церковь.

В ожидании начатия службы Кириякова разговаривала с теткою, а сын ее, молодой человек лет двадцати пяти, подходил к нам, или, лучше сказать, ко мне, потому что он говорил только со мною. Он был очень недурен собою, имел прекрасные черные глаза, волосы и брови и юношескую свежесть лица; я очень полюбила божественную службу и к заутрене вставала всегда уже прежде тетушки.

Наконец разговоры мои с молодым Кирияковым обратили на себя внимание тетки моей. Она стала замечать, расспрашивать сестру, которая тотчас и сказала, что Кирияк брал мою руку и просил меня отдать ему кольцо, говоря, что тогда сочтет себя уполномоченным говорить с тетушкою.

Получа такое объяснение от сестры моей, тетка призвала меня к себе: «Что говорит с тобою сын нашей соседки всякий раз, когда мы бываем вместе?» Не умея вовсе притворяться, я рассказала тотчас все, что было мне говорено. Тетушка покачала головою; ей это очень не нравилось. «Нет, – говорила она, – не так ищут руки девицы! К чему объясняться с тобою! Надобно было прямо отнестись к твоим родственникам!» После этого меня отвезли обратно к бабке; я долго скучала о молодом Кирияке. Это была первая склонность, и думаю, что если б тогда отдали меня за него, то я навсегда простила бы с воинственными замыслами; но судьба, предназначавшая мне поприщем ратное поле, распорядилась иначе. Старая Кириякова просила тетку мою осведомиться, имею ли я какое приданое, и, узнавши, что оно состоит из нескольких аршин лент, полотна и кисеи, а более ничего, запретила сыну своему думать обо мне.

Мне наступил пятнадцатый год, как в один день принесли дяде моему письмо, повергшее всех в печаль и недоумение. Письмо было от батюшки; он писал к матери моей, умолял ее простить ему, возвратиться и давал клятву все оставить. Никто ничего не мог понять из этого письма. Где мать моя? Почему письмо к ней адресовано в Малороссию? Разошлась ли она с мужем, и по какой причине? Дядя и бабка мои терялись в догадках.

Недели через две после этого письма я каталась в лодке по Удаю и вдруг услышала визливый голос бабушкиной горничной девки: «Панночко, панночко! Идуть до бабусци!» Я испугалась, услыша призыв к бабушке, повернула лодку и мысленно прощалась с своим любезным *дубом*, полагая, что теперь велят его приковать цепью к свае и прогулки мои по реке навсегда кончились. «Как это случилось, что бабушка увидела?» – спрашивала я, приставая к берегу. «Бабушка не видала, – отвечала Агафья, – но за вами приехал Степан; матушка ваша прислала». Матушка? За мною? Возможно ли? Ах, прекрасный край, неужели я должна буду оставить тебя?..

Я шла поспешно домой; там увидела старого слугу нашего, бывшего во всех походах с отцом моим; седой Степан почтительно подал мне письмо. Отец писал, что он и мать моя желают, чтоб я немедленно приехала к ним, что им скучно жить розно со мною. Это было непонятно для меня; я знала, что мать не любила меня; итак, это батюшка хочет, чтоб я была при нем; но как же согласилась мать моя?

Сколько я ни думала и сколько ни сожалела о необходимости оставить Малороссию, о стеснении свободы, меня ожидающем, о неприятном размене прекрасного климата на холодный и суровый, но должна была повиноваться! В два дня все приготовили, напекли, нажарили, лакомств дали огромный короб и все уложили. На третий почтенная бабка моя прижала меня к груди своей и, целуя, сказала: «Поезжай, дитя мое! Да благословит тебя Господь в пути твоём! Да благословит он тебя и в пути жизни твоей!» Она положила руку свою мне на голову и тихо призывала на меня покровительства Божия! Молитва праведницы была услышана: во все продолжение воинственной, бурной жизни я испытывала во многих случаях видимое заступление Всевышнего.

Нечего описывать путешествия моего под надзором старого Степана и в товариществе двенадцатилетней Аннушки, его дочери; оно началось и кончилось, как начинаются и оканчиваются подобные вояжи: ехали на протяжных тихо, долго и наконец приехали. Отворяя дверь в зал отцовского дома, я услышала, как маленькая сестра моя, Клеопатра, говорила: «Подите, маменька, какая-то барышня приехала!» Сверх ожидания, матушка приняла меня ласково; ей приятно было видеть, что я получила тот скромный и постоянный вид, столько приличествующий молодой девице. Хотя в полтора года я много выросла и была почти головою выше матери, но не имела уже ни того воинственного вида, делавшего меня похожею на Ахиллеса в женском платье, ни тех гусарских приемов, приводивших мать мою в отчаяние.

Прожив несколько дней дома, я узнала причину, заставившую прислать за мною. Отец мой, всегда равнодушный к красоте, изменил матери моей в ее отсутствие и взял на содержание прекрасную девочку, дочь одного мещанина. По возвращении матушка долго еще ничего не знала, но одна из ее знакомых думала услужить ей, объявив гибельную тайну, и отравила жизнь ее ядом, жесточайшим из всех, – ревностью! Несчастливая мать моя помертвела, слушая рассказ безумно услужливой приятельницы, и, выслушав, ушла от нее, не говоря ни слова, и легла в постель; когда батюшка пришел домой, она хотела было говорить ему кротко и покойно, но в ее ли воле было сделать это!

С первых слов терзание сердца превозмогло все! Рыдания пресекли ее голос; она била себя в грудь, ломала руки, кляла день рождения и ту минуту, в которую узнала любовь! просила отца моего убить ее и тем избавить нестерпимого мучения жить, быв им пренебреженною! Батюшка ужаснулся состояния, в котором видел мать мою; он старался успокоить ее, просил не верить вздорным рассказам; но, видя, что она была слишком хорошо уведомлена обо всем, клялся Богом и совестью оставить преступную связь; матушка поверила, успокоилась и простила. Батюшка несколько времени держал свое слово, оставил любовницу и даже отдал ее замуж; но после взял опять, и тогда-то мать моя в отчаянии решилась было навсегда расстаться с неверным мужем и поехала к своей матери в Малороссию; но в Казани остановилась.

Батюшка, не зная этого, написал в Малороссию, убеждая мать мою простить ему и возвратиться; но в то же время и сам получил письмо от матери моей. Она писала, что не имеет силы удалиться от него, не может перенести мысли расстаться навек с мужем, хотя жестоко ее обидевшим, но и безмерно ею любимым! Умоляла его одуматься и возвратиться к своим обязанностям. Батюшка был тронут, раскаялся и просил матушку возвратиться. Тогда-то она послала за мною, полагая, что присутствие любимой дочери заставит его забыть совершенно недостойный предмет своей привязанности.

Несчастливая! Ей суждено было обмануться во всех своих ожиданиях и испить чашу горести до дна! Батюшка переходил от одной привязанности к другой и никогда уже не возвра-

щался к матери моей! Она томила, увядала, сделалась больна, поехала лечиться в Пермь к славному *Граю* и умерла на тридцать пятом году от рождения, более жертвою несчастья, нежели болезни!..

Увы! бесполезно орошаю теперь слезами строки эти! Горе мне, бывшей первоначально причиною бедствий матери моей!.. Мое рождение, пол, черты, наклонности – все было не то, чего хотела мать моя. Существование мое отравляло жизнь ее, а непрерывная досада испортила ее нрав, и без того от природы вспыльчивый, и сделала его жестоким; тогда уже и необыкновенная красота не спасла ее; отец перестал ее любить, и безвременная могила была концом любви, ненависти, страданий и несчастий.

Матушка, не находя уже удовольствия в обществе, вела затворническую жизнь. Пользуясь этим обстоятельством, я выпросила у отца позволение ездить верхом; батюшка приказал сшить для меня казачий чекмень и подарил своего Алкида. С этого времени я была всегдашним товарищем отца моего в его прогулках за город; он находил удовольствие учить меня красиво сидеть, крепко держаться в седле и ловко управлять лошадей.

Я была понятная ученица; батюшка любовался моею легкостью, ловкостью и бесстрашием; он говорил, что я живой образ юных лет его и что была бы подпорою старости и честию имени его, если б родилась мальчиком! Голова моя вскружилась! но теперешнее кружение было уже прочно. Я была не дитя: мне минуло шестнадцать лет! Обольстительные удовольствия света, жизнь в Малороссии и черные глаза Кирияка, как сон, изгладились в памяти моей; но детство, проведенное в лагере между гусарами, живыми красками рисовалось в воображении моем.

Все воскресло в душе моей! Я не понимала, как могла не думать о плане своем почти два года! Мать моя, угнетенная горестию, теперь еще более ужасными красками описывала участь женщин. Воинственный жар с неимоверною силою запылал в душе моей; мечты зародились в уме, и я деятельно зачала изыскивать способы произвести в действие прежнее намерение свое – сделаться воином, быть сыном для отца своего и навсегда отделиться от пола, которого участь и вечная зависимость начали страшить меня.

Матушка не ездила еще в Пермь лечиться, когда в город наш пришел полк казаков для усмирения непрерывного воровства и смертоубийств, производимых татарами. Батюшка часто приглашал к себе обедать их полковника и офицеров; ездил с ними прогуливаться за город верхом; но я имела предусмотрительность никогда не быть участницею этих прогулок: мне нужно было, чтобы они никогда не видали меня в чекмене и не имели понятия о виде моем в мужском платье.

Луч света озарил ум мой, когда казаки вступили в город! Теперь я видела верный способ исполнить так давно предпринятый план; видела возможность, дождавшись выступления казаков, дойти с ними до места, где стоят регулярные полки.

Наконец настало решительное время действовать по предначертанному плану! Казаки получили повеление выступить; они вышли пятнадцатого сентября 1806 года; в пятидесяти верстах от города должна была быть у них дневка. Семнадцатого был день моих именин и день, в который судьбою ли, стечением ли обстоятельств или непреодолимою наклонностию, но только определено было мне оставить дом отцовский и начать совсем новый род жизни.

В день семнадцатого сентября я проснулась до зари и села у окна дожидаться ее появления: может быть, это будет последняя, которую я увижу в стране родной! Что ждет меня в бурном свете! Не понесется ли вслед за мною проклятие матери и горесть отца! Будут ли они живы! Дождутся ли успехов гигантского замысла моего! Ужасно, если смерть их отнимет у меня цель действий моих! Мысли эти то толпились в голове моей, то сменяли одна другую!

Сердце мое стеснилось, и слезы заблестали на ресницах. В это время занялась заря, скоро разлилась алым заревом, и прекрасный свет ее, пролившись в мою комнату, осветил предметы: отцовская сабля, висевшая на стене прямо против окна, казалась горящею. Чувства мои ожи-

вились. Я сняла саблю со стены, вынула ее из ножен и, смотря на нее, погрузилась в мысли; сабля эта была игрушкой моею, когда я была еще в пеленах, утехой и упражнением в отроческие лета, и почему ж теперь не была бы она защитой и славою моею на военном поприще? «Я буду носить тебя с честью», – сказала я, поцеловав клинок и вкладывая ее в ножны.

Солнце взошло. В этот день матушка подарила мне золотую цепь; батюшка триста рублей и гусарское седло с алым вальтрапом; даже маленький брат отдал мне золотые часы свои. Принимая подарки родителей моих, я с грустию думала, что им и в мысль не приходит, что они снаряжают меня в дорогу дальнюю и опасную.

День этот я провела с моими подругами. В одиннадцать часов вечера я пришла проститься с матушкою, как то делала обыкновенно, когда шла уже спать. Не имея сил удержать чувств своих, я поцеловала несколько раз ее руки и прижала их к сердцу, чего прежде не делала и не смела делать. Хотя матушка и не любила меня, однако ж была тронута необыкновенными изъявлениями детской ласки и покорности; она сказала, целуя меня в голову: «Поди с Богом!» Слова эти весьма много значили для меня, никогда еще не слышавшей ни одного ласкового слова от матери своей. Я приняла их за благословение, поцеловала руку ее и ушла.

Комнаты мои были в саду. Я занимала нижний этаж садового домика, а батюшка жил вверху. Он имел обыкновение заходить ко мне всякий вечер на полчаса. Он любил слушать, когда я рассказывала ему, где была, что делала или читала. Ожидая и теперь обычного посещения отца моего, положила я на постель за занавес мое казацкое платье, поставила у печки кресла и стала подле них дожидаться, когда батюшка пойдет в свои комнаты.

Скоро я услышала шелест листьев от походки человека, идущего по аллее. Сердце мое вспрыгнуло! Дверь отворилась, и батюшка вошел: «Что ты так бледна? – спросил он, садясь на кресла, – здорова ли?» Я с усилием удержала вздох, готовый разорвать грудь мою; последний раз отец мой входит в комнату ко мне с уверенностью найти в ней дочь свою! Завтра он пройдет мимо с горестью и содроганием! Могильная пустота и молчание будут в ней! Батюшка смотрел на меня пристально: «Что с тобою? Ты, верно, не здорова?» Я сказала, что только устала и озябла. «Что ж не велишь протапливать свою горницу? Становится сыро и холодно». Помолчав несколько, батюшка спросил: «Для чего ты не прикажешь Ефиму выгонять Алкида на корде? К нему приступа нет; ты сама давно уже не едешь на нем, другому никому не позволяешь. Он так застоялся, что даже в стойле скачет на дыбы, непременно надобно проездить его». Я сказала, что прикажу сделать это, и опять замолчала. «Ты что-то грустна, друг мой. Прощай, ложись спать», – сказал батюшка, вставая и целуя меня в лоб. Он обнял меня одною рукою и прижал к груди своей; я поцеловала обе руки его, стараясь удержать слезы, готовые градом покатиться из глаз. Трепет всего тела изменил сердечному чувству моему. Увы! Батюшка приписал его холоду! «Видишь, как ты озябла», – сказал он. Я еще раз поцеловала его руки. «Добрая дочь!» – примолвил батюшка, потрепав меня по щеке, и вышел.

Я стала на колени близ тех кресел, на которых сидел он, и, склонясь перед ними до земли, целовала, орошая слезами, то место пола, где стояла нога его. Через полчаса, когда печаль моя несколько утихла, я встала, чтоб скинуть свое женское платье; подошла к зеркалу, обрезала свои локоны, положила их в стол, сняла черный атласный капот и начала одеваться в казачий униформ. Стянув стан свой черным шелковым кушаком и надев высокую шапку с пунцовым верхом, с четверть часа я рассматривала преобразившийся вид свой; остриженные волосы дали мне совсем другую физиономию; я была уверена, что никому и в голову не придет подозревать пол мой.

Сильный шелест листьев и храпенье лошади дали знать мне, что Ефим ведет Алкида на задний двор. Я в последнее простерла руки к изображению Богородицы, столько лет принимавшему мольбы мои, и вышла! Наконец дверь отцовского дома затворилась за мною, и кто знает? может быть, никогда уже более не отворится для меня!..

Приказав Ефиму идти с Алкидом прямою дорогою на Старцову гору и под лесом дожидаться меня, я сбежала поспешно на берег Камы, сбросила тут капот свой и положила его на песок со всеми принадлежностями женского одеяния; я не имела варварского намерения заставить отца думать, что я утонула, и была уверена, что он не подумает этого; я хотела только дать ему возможность отвечать без замешательства на затруднительные вопросы наших недалеконедальних знакомых.

Оставив платье на берегу, я вошла прямо на гору по тропинке, проложенной козами; ночь была холодная и светлая; месяц светил во всей полноте своей. Я остановилась взглянуть еще раз на прекрасный и величественный вид, открывающийся с горы: за Камою, на необозримое пространство видны были Пермская и Оренбургская губернии! Темные, обширные леса и зеркальные озера рисовались как на картине! Город, у подошвы утесистой горы, дремал в полуночной тишине; лучи месяца играли и отражались на позолоченных главах собора и светили на кровлю дома, где я выросла!.. Что мыслит теперь отец мой? говорит ли ему сердце его, что завтра любимая дочь его не придет уже пожелать ему доброго утра?..

В молчании ночном ясно доходили до слуха моего крик Ефима и сильное храпенье Алкида. Я побежала к ним, и в самую пору: Ефим дрожал от холода, бранил Алкида, с которым не мог сладить, и меня за медленность. Я взяла мою лошадь у него из рук, села на нее, отдала ему обещанные пятьдесят рублей, попросила, чтоб не сказывал ничего батюшке, и, опустив Алкиду повод, вмиг исчезла у изумленного Ефима из виду.

Версты четыре Алкид скакал с одинаковою быстротою; но мне в эту ночь надобно было проехать пятьдесят верст до селения, где я знала, что была назначена дневка казачьему полку. Итак, удержав быстрый скок моего коня, я поехала шагом; скоро въехала в темный сосновый лес, простирающийся верст на тридцать. Желая сберечь силы моего Алкида, я продолжала ехать шагом и, окруженная мертвою тишиною леса и мраком осенней ночи, погрузилась в размышления: итак, я на воле! Свободна! Независима! Я взяла мне принадлежащее, мою свободу: *свободу!* Драгоценный дар неба, неотъемлемо принадлежащий каждому человеку! Я умела взять ее, охранить от всех притязаний на будущее время, и отныне до могилы она будет и уделом моим и наградою!

Тучи закрыли все небо; в лесу сделалось темно так, что я на три сажени перед собою не могла ничего видеть, и, наконец, поднявшийся с севера холодный ветер заставил меня ехать скорее. Алкид мой пустился большой рысью, и на рассвете я приехала в селение, где дневал полк казаков.

Записки

Полковник и его офицеры давно уже проснулись и собрались все в полковничью квартиру завтракать; в это время я вошла к ним. Они шумно разговаривали между собою, но, увидя меня, вдруг замолчали. Полковник, с видом изумления, подошел ко мне. «Которой ты сотни?» – спросил он поспешно. Я отвечала, что не имею еще чести быть в которой-нибудь из них; но приехал просить его об этой милости. Полковник слушал меня с удивлением. «Я не понимаю тебя! Разве ты нигде не числишься?» – «Нигде». – «Почему?» – «Не имею права». – «Как! Что это значит? Казак не имеет права быть причислен к полку казачьему! Что это за вздор!» Я сказала, что я не казак. «Ну, кто же ты, – спросил полковник, начинавший выходить из терпения, – зачем в казачьем мундире, и чего ты хочешь?» – «Я уже сказал вам, полковник, что желаю иметь честь быть причислен к вашему полку, хотя только на то время, пока дойдем до регулярных войск». – «Но все-таки я должен знать, кто ты таков, молодой человек, и сверх того разве тебе не известно, что у нас никому нельзя служить, кроме природных казаков?» – «Я и не имею этого намерения, но прошу у вас только позволения дойти до регулярных войск в звании и одеянии казака при вас или при полку вашем; что ж до вопроса вашего, кто я таков, скажу только то, что могу сказать: я дворянин, оставил дом отцовский и иду в военную службу без ведома и воли моих родителей; я не могу быть счастлив ни в каком другом звании, кроме военного, потому я решился в этом случае поступить по своему произволу; если вы не примете меня под свое покровительство, я найду средство и один присоединиться к армии».

Полковник с участием смотрел на меня, пока я говорила. «Что мне делать? – сказал он вполголоса, оборотясь к одному седому есаулу. – Я не имею духа отказать ему!» – «На что же и отказывать, – отвечал равнодушно есаул, – пусть едет с нами». – «Не нажить бы нам хлопот». – «Каких же? Напротив, и отец и мать его будут вам благодарны впоследствии за то, что вы дадите ему приют; с его решимостью и неопытностью он попадет в беду, если вы его отошлете».

В продолжение этого короткого переговора полковника с есаулом я стояла, опершись на свою саблю, с твердым намерением, получа отказ, сесть на своего питомца гор и ехать одной к предположенной цели. «Ну хорошо, молодой человек, – сказал полковник, оборотясь ко мне, – ступай с нами; но предупреждаю тебя, что мы идем теперь на Дон, а там регулярных войск нет. Щегров! дай ему лошадь из заводных!»

Высокого роста казак, вестовой полковника, пошел было исполнить приказание. Но я, спеша пользоваться возможностью играть роль подчиненного воина, сказала: «У меня есть лошадь, *ваше высокоблагородие!* Я буду ехать на ней, если позволите». Полковник рассмеялся: «Тем лучше, тем лучше! Поезжай на своей лошади. Как же твое имя, молодец?» Я сказала, что меня зовут Александром! «А по отчеству?» – «Васильем звали отца моего!» – «Итак, Александр Васильевич, на походе ты будешь ехать всегда при первой сотне; обедать у меня и квартировать. Иди теперь к полку, мы сейчас выступаем. Дежурный, вели садиться на коней».

Вне себя от радости, побежала я к своему Алкиду и как птица взлетела на седло. Бодрая лошадь, казалось, понимала мое восхищение; она шла гордо, сгибая шею кольцом и быстро водя ушами. Казачьи офицеры любовались красотой Алкида моего и вместе хвалили и меня; они говорили, что я хорошо сижу на лошади и что у меня прекрасная черкесская талия.

Я начинала уже краснеть и приходила в замешательство от любопытных взоров, со всех сторон на меня устремленных; но такое положение не могло быть продолжительно; я скоро оправилась и отвечала на расспросы учтиво, правдоподобно, голосом твердым, покойным, и казалась вовсе не замечающею всеобщего любопытства и толков, возбужденных появлением моим среди войска Донского.

Наконец казаки, наговорясь и насмотревшись на коня моего и на меня, стали по местам. Полковник вышел, сел на черкесского коня своего, scomандовал: «Справа по три!» – и полк

двинулся вперед. Переднее отделение, нарочно составленное из людей, имеющих хороший голос, запело: «Душа добрый конь» – любимую казацкую песню.

Меланхолический напев ее погрузил меня в задумчивость: давно ли я была дома! в одежде пола своего, окруженная подругами, любимая отцом, уважаемая всеми как дочь градоначальника! Теперь я казак! В мундире, с саблею; тяжелая пика утомляет руку мою, не пришедшую еще в полную силу. Вместо подруг меня окружают казаки, которых наречие, шутки, грубый голос и хохот трогают меня! Чувство, похожее на желание плакать, стеснило грудь мою!

Я наклонилась на крутую шею коня своего, обняла ее и прижалась к ней лицом!.. Лошадь эта была подарок отца! Она одна оставалась мне воспоминанием дней, проведенных в доме его! Наконец борьба чувств моих утихла, я опять села прямо и, занявшись рассматриванием грустного осеннего ландшафта, поклялась в душе никогда не позволять воспоминаниям ослаблять дух мой, но с твердостью и постоянством идти по пути, мною добровольно избранном.

Поход продолжался более месяца; новое положение мое восхищало меня; я научилась седлать и расседлывать свою лошадь, сама водила ее на водопой, так же, как и другие. Походом казацкие офицеры часто скакались на лошадях и предлагали и мне испытать быстроту моего Алкида против их лошадей; но я слишком люблю его, чтоб могла согласиться на это. К тому ж мой добрый конь не в первом цвете молодости, ему уже девять лет; и хотя я уверена, что в целом казацком полку нет ни одной лошади, равной моему Алкиду в быстроте, точно так же, как и в красоте, но все-таки не имею бесчеловечного тщеславия мучить своего товарища от пустого удовольствия взять верх над тощими скакунами Дона.

Наконец полк пришел на рубеж своей земли и расположился лагерем в ожидании смотра, после которого их распускают по домам; ожидание и смотр продолжались три дня; я в это время ходила с ружьем по необозримой степи Донской или ездила верхом. По окончании смотра казаки пустились во все стороны группами; это был живописный вид: несколько сот казаков, рассыпавшись по обширной степи, ехали от места смотра во всех направлениях. Картина эта припомнила мне рассыпное бегство муравьев, когда мне случалось выстрелить холостым зарядом из пистолета в их кучу.

Щегров позвал меня к полковнику: «Ну вот, молодой человек, нашему странствию конец! а вашему? что вы намерены делать?» – «Ехать к армии», – смело отвечала я. «Вы, конечно, знаете, где она расположена? знаете дорогу, по которой ехать, и имеете к этому средства?» – спросил полковник, усмехаясь. Ирония эта заставила меня покраснеть: «О месте и дороге я буду спрашивать, полковник, что ж касается до средств, у меня есть деньги и лошадь». – «Ваши средства хороши только за неимением лучших; мне жаль вас, Александр Васильевич! Из поступков ваших, более, нежели из слов, уверился я в благородном происхождении вашем; не знаю причин, заставивших вас в такой ранней юности оставить дом отцовский; но если это точно желание войти в военную службу, то одна только ваша неопытность могла закрыть от вас те бесчисленные затруднения, которые вам надобно преодолеть прежде достижения цели. Подумайте об этом».

Полковник замолчал, я также молчала, и что могла я сказать! Меня страшат затруднениями! Советуют подумать... Может быть, хорошо было бы услышать это дома; но, удалясь от него две тысячи верст, надобно продолжать, и какие б ни были затруднения, твердою волею победить их! Так думала я и все еще молчала.

Полковник начал опять: «Вижу, что вы не хотите говорить со мною откровенно; может быть, вы имеете на это свои причины; но я не имею духа отпустить вас на верную гибель; послушайте меня, останьтесь пока у меня на Дону; покровительство опытного человека для вас необходимо; я предлагаю вам до времени дом мой, живите в нем до нового выступления нашего в поход; вам не будет скучно, у меня есть семейство, климат наш, как видите, очень тепел, снегу не бывает до декабря, можете прогуливаться верхом сколько угодно; конюшня моя к вашим услугам. Теперь мы поедем ко мне в дом, я отдам вас на руки жене моей, а сам

отправлюсь в Черкасск к Платову; там пробуду до нового похода, который не замедлится; тогда и вы дойдете вместе с нами до регулярных войск. Согласны ли вы последовать моему совету?»

Я сказала, что принимаю предложение его с искреннею благодарностью. Надобно было не иметь ума, чтоб не видеть, как выгодно для меня будет дойти до регулярного войска, не обращая на себя внимания и не возбуждая ни в ком подозрения. Полковник и я сели в коляску и отправились в Раздорскую станицу, где был у него дом.

Жена его чрезвычайно обрадовалась приезду мужа; это была женщина средних лет, прекрасная собою, высокого роста, полная, с черными глазами, бровями и волосами и смугловатым цветом лица, общим всему казачьему племени; свежие губы ее приятно улыбались всякий раз, когда она говорила. Меня очень полюбила она и обласкала; дивилась, что в такой чрезвычайной молодости отпустили меня родители мои скитаться, как она говорила, по свету; «вам, верно, не более четырнадцати лет, и вы уже одни на чужой стороне; сыну моему осьмнадцать, и я только с отцом отпускаю его в чужие земли; но одному! Ах боже! Чего не могло б случиться с таким птенцом! Поживите у нас, вы хоть немного подрастете, возмужаете, и, когда наши казаки опять пойдут в поход, вы пойдете с ними, и муж мой будет вам вместо отца».

Говоря это, добрая полковница уставливая стол разными лакомствами – медом, виноградом, сливками и сладким, только что выжатым вином: «Пейте, молодой человек, – говорила доброхотная хозяйка, – чего вы боитесь? Это и мы, бабы, пьем стаканами; трехлетние дети у нас пьют его, как воду».

Я до этого времени не знала еще вкуса вина и потому с большим удовольствием пила донской нектар. Хозяйка смотрела на меня, не сводя глаз: «Как мало походите вы на казака! Вы так белы, так тонки, так стройны, как девица! Женщины мои так и думают; они говорили уже мне, что вы переодетая девушка!» Говоря таким образом, полковница хохотала простодушно, вовсе не подозревая, как хорошо отгадали ее женщины и какое замирение сердца причиняют слова ее молодому гостю, так усердно ею угощаемому.

С этого дня я не находила уже никакого удовольствия оставаться в семействе полковника, но с утра до вечера ходила по полям и виноградникам. Охотно уехала бы я в Черкасск, но боялась новых расспросов; я очень видела, что казачий мундир худо скрывает разительное отличие мое от природных казаков; у них какая-то своя физиономия у всех, и потому вид мой, приемы и самый способ изъясняться были предметом их любопытства и толкования; к тому же, видя себя беспрестанно замечаемую, я стала часто приходить в замешательство, краснеть, избегать разговоров и уходить в поле на целый день, даже и в дурную погоду.

Полковника давно уже не было дома, он жил по делам службы в Черкасске; единообразная бездейственная жизнь сделалась мне несносна; я решилась уехать и отыскивать армию, хотя сердце мое трепетало при мысли, что те же расспросы, то же любопытство ожидают меня везде; но по крайности, думала я, это будет некоторым образом мимоходом, а не так, как здесь я служу постоянным предметом замечаний и толкованья.

Решась ехать завтра на рассвете, я пришла домой засветло, чтобы уведомить хозяйку о своем отъезде и приготовить лошадь и сбрую. Входя на двор, я увидела необыкновенную суетливость и беготню людей полковника; увидела множество экипажей и верховых лошадей. Я вошла в залу, и первую встречу был возвратившийся полковник; толпа офицеров окружала его; но между ними не было, однако ж, ни одного из тех, с которыми я пришла на Дон. «Здравствуйте, Александр Васильевич! – сказал полковник, отвечая на поклон мой, – не соскучились ли вы у нас? Господа, рекомендую, это русский дворянин; он будет спутником нашим до места».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.